

О маленькой фее и молодом чабане (Горький)

У людей очень много грустных сказок; промолчим на вопрос, почему это так, и послушаем одну из них, новую сказку на старую тему, сказку, которую рассказывают на Дунае, голубой реке...

Над Дунаем есть лес, старый, мощный лес. Он начинается с берега и уходит далеко в глубь полей; ветви его деревьев нависли над синими звучными волнами реки, и корни их, узловатые и сморщенные, вода целует и моет, набегая на берег с тихим, ласковым звуком.

Жили в том лесу эльфы и феи, и старые, мудрые гномы построили в нём, под корнями деревьев, дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и всё другое, про что нужно думать, чтобы быть мудрецом.

Ночами они выходили на тенистый берег реки и, сидя на камнях, поросших мягким тёмно-зелёным мохом, и на старых, поваленных бурею стволах деревьев, смотрели на волны и слушали то, что они шептали, тихо пробегая до моря из непонятной, туманной мглой занавешенной дали.

В том же лесу жила и старая царица фей и четыре её дочери; а из них самая меньшая была самой весёлой, красивой и смелой. Она была очень маленькая, и её головка, вся в серебряных волнистых кудрях, походила на пышно расцветшую лилию.

Целые дни она бегала по лесу, а когда уставала, то садилась на ветви старого дуплистого бука; он стоял близко к тому краю леса, что выходил в степь. Это было её любимое место, и с него, чрез пышный полог душистых зелёных ветвей, волновавшийся, как море, чуть над ним промчится ветер, — она видела бесконечную ширь степи, начинавшейся сейчас же за лесом и уходившей туда — в розовато-голубую даль, где её край касался мягкой синевы неба.

Она сидела высоко на ветках, ветер тихо качал их под ней, и она пела, нежась на солнце, о том, как хорошо быть феей и жить в старом, тенистом лесу.

Птицы, бабочки и все, кто жил вместе с нею, очень любили её, и ей жилось хорошо, очень хорошо.

И вот с нею-то и случилась эта грустная история, о которой рассказывали мне дунайские рыбаки.

Был май, — славный, весёлый май; свежая, ярко-зелёная листва, рождённая им, ликовала; шум её лился широкой и звучной струёй в лазурное, яркое небо, — а в нём тихо плавали белые пуховые облака и таяли в ярких лучах весёлого солнца весны.

Фея качалась на ветках могучего бука и пела; старые ветви музыкально и тихо скрипели, и зелень их шумно шептала хвалу песне красавицы-феи:

Хорошо на ветках бука

В ясный майский день качаться

И волной душистой звука

Песни леса упиваться!

Эта была её любимая и бесконечно длинная песня.

Хорошо весёлой белкой

Прыгать с той на эту ветку,

Разрывая белой ножкой

Паука лесного сетку!..

И вдруг до её слуха донеслась, как бы в ответ ей, другая звонкая и смелая песня:

Хорошо в степном просторе,

Напоённом мягким зноем,

Наблюдать, как в небе-море

Мчатся тучки лёгким строем!

Фея удивилась и испугалась немного; эта песня прилетела со степи, и тот, кто её пел, умел петь; звонко и стройно звучал его голос и, точно поддразнивая её, вызывал на состязание.

Ветра буйного порывы

Степью бешено летят,

Точно в небе крошки-звёзды

Погасить они хотят!

Это пел не один из жаворонков и никто из соловьев; она знала все их песни!
Кто же это пел? Ей захотелось узнать.

Как красива сеть ветвей

Дуба мощного и вяза!

Она замолчала, — и, так как она была женщина, она была тщеславна, а потому тотчас же и подумала, что со дня своего рождения лес не слышал такой красивой и звучной песни, как вот эта, которую она только что спела. Но не успел ещё лес шумом ветвей сказать ей спасибо, как со степи полилось:

Степь родная! От края до края

Ковылём поросла ты седым;

Вольный ветер, с ним нежно играя,

Над тобой мощной птицей летает

И весёлые сны навевает...

И плывут, и клубятся, как дым,

Стаи туч с высоты голубой

Далеко, далеко над тобой!..

Маленькая фея белкой взобралась на самую вершину бука и смотрела в степь. В ней догорал день, и её край, о котором пелось, был окрашен в яркий пурпур, точно там был развешен громадный бархатный занавес и в складках его горело золото. А на пышном фоне этого занавеса рисовалась такая красивая и странная фигура кого-то с длинной палкой в руках и в белой овечьей шкуре на плечах и поясе. Она стояла на одном из тех маленьких холмиков, под которыми живут суслики и кроты, и, простирая руки к лесу, пела. Больше ничего не было видно. А когда песня, звонкая и смелая, была пропета, фее так сильно захотелось посмотреть поближе на того, кто пел её, что она готова была побежать туда, но, вспомнив рассказы матери о том, что по степи часто ходят люди и что с ними лучше не встречаться, коли не хочешь несчастья, — удержалась и молча, не отрываясь, всё смотрела на певца. А он, кончив свою песню, взмахнул над головой палкой, свистнул и, крикнув к лесу: «Эгой! Прощай!», лёгкими шагами пошёл туда, в степь, откуда выплывали навстречу ему тонкие стаи мутно-голубой мглы, — пошёл и снова стал петь.

Есть ли что-нибудь для глаза

Поля голого мертвей?!.

Как серебряные колокольчики, звенел её голос, когда она пела эту песенку-вызов, и в ответ получила:

Сеть из сучьев чёрных сплёл

Этот старый, хмурый лес,

И лазурный свод небес

Глаз мой в нём бы не нашёл.

Это фею рассердило. Разве сквозь ветви деревьев не видно лазурного неба? Тот, кто пел эти песни, никогда не бывал в лесу. А вот что хорошего в бесконечно большом и голом поле, — это трудно сказать и мудрецу! Она громко закричала в степь:

Если по степи проносятся вьюги,

Дико и буйно в ней ветер поёт,

Лес в это время в тоске и испуге

Страшно шумит и мне спать не даёт!

Когда она прислушалась — в степи кто-то весело смеялся.

— Ах, как это невежливо! — вскричала фея и почувствовала в себе желание победить.

Лесу хвалу я пою!

— запела она звонко. Весь лес до последнего кустика ласково зашумел бархатной листвой, и её голос жаворонком взвился в небо.

Слушайте, птицы, меня!..

И неугомонно певшие птички замолчали, чтоб послушать и поучиться славить лес.

Песнь моя! громко звеня,

Лейся ты в небо прекрасное!

Солнце! ты песнь мою

Златом лучей облеку
И преврати в огоньки,
Чистые, кроткие, ясные!..
Пусть они песнью без слов
Ночью по лесу летают
И светляками сияют
В зелени мощных дубов!..
И тут она встала на толстый сук бука, вдохновенно закинув голову назад, и,
подняв маленькие белые ручки к небу, пела далее:
Мой старый, добрый, чудный лес!
Ты тайны мир, ты мир чудес!
Купаясь в запахе густом
Тобой взлелеянных цветов,
Весёлых пташек дивный хор
Тебе хвалы поёт!..
Под каждой веткой и листком
Живут букашки, мотыльки...
А меж корнями в мраке нор
Живёт суровый крот;
И робкий кролик, и лиса,
И жёлтый уж, и острый ёж,
И резвый эльф, и мудрый гном
В тебе нашли приют!
О лес!.. Всех птичек голоса,
Пускай хоть век они звенят —
За ночью ночь и день за днём —

Тебя не воспоют,
Мой старый, чудный, мощный лес!

Тихо ветер тучки гонит,
Тени их на степь упали...

И ковыль головки клонит, —
Это тени стебли смяли.

Тихий шорох ковыля
Плавню льётся в небеса,

Точно чьи-то голоса
Шепчут сказки, веселя

Душу юную мою.
Хищный беркут плавню вьётся

Там высоко точкой чёрной,
И оттуда клёкот льётся,
Клёкот мощный и задорный.

Царство силы и свободы —
Степь могучая моя...

Потом слова песни сделались неслышными, в лес летели одни только звуки, и фее было сладко слушать их; а когда и они пропали, потерявшись в безграничной степной равнине, она вместе с ними потеряла и силуэт певца, утонувшего в мягком море мглы. Тогда она задумчиво спустилась на землю и тихо пошла в свой дворец; но то, что раньше интересовало её, — игры эльфов с мотыльками, и сиянье светляков, и работа меж ветвями домовитых пауков, шорох листьев под ногою, тени мягкие на всём, и согнувшийся дугою погулять идущий гном, — всё это не останавливало на себе её ясных глаз; она думала о том, кто так много и так славню пел там, в степи, и ей хотелось узнать, что это было. Вот она пришла к себе. Её мать и сёстры собирались на свадьбу к одному почтенному кроту и стали звать её с собой, но ей не захотелось и этого; тогда мать спросила её:

— Что ты такая грустная, Майя? Ты устала или тебя опять напугали эти старые разбойники — вороны?

— Нет, не это, мама, совсем не это!

И она рассказала всё, что с нею было, а потом спросила, что такое было это.

Сёстры её не удивились её рассказу, они вскричали:

— Просто это чабан! а ты — дурочка! — и убежали куда-то, смеясь, бросая друг в друга цветами и крича: — Мы вас ждём!

— Да, это только чабан, моя дочка! — сказала фея-мать. — Он ещё молод, должно быть, вот и распелся так; когда поживёт, так разучится петь.

Она опытная была, эта царица фей.

— Что значит чабан, мама? — спросила Майя.

— Чабан — это тоже человек. Он пасёт овец и потому называется чабан. Чабаны, впрочем, всё-таки лучше других людей, не так злы и лживы, как те; должно быть, это потому, что они всё время живут с овцами.

— Он не может ничего дурного мне сделать, мама?

— Он-то? Нет, я думаю, что может, потому что ведь он всё-таки человек. Но ведь он к тебе не пойдёт, ты к нему — тоже? Не так ли? Тебе нечего бояться, девочка!

И опять скажу: царица фей была редкая женщина; она была умна и хорошо знала людей, но, видно, позабыла кой о чём на этот раз.

Майя замолчала, и они пошли на свадьбу крота. Там было весело, собрался чуть не весь лес: громадная толпа кузнечиков и стрекоз составила очень звучный оркестр и славно играла; эльфы, мотыльки и другие обитатели леса танцевали и пели, а царица фей с дочерьми сидела на пышном троне из тюльпанов, и майские жуки служили ей, поднося то росу с соком фиалок, то молоко из лесных орехов и разные другие кушанья и сласти; мудрые гномы толковали между собой о жизни и других тайнах; мудрейшие ещё больше убеждались в том, что действительно всё суeta сует и томление духа. Было очень весело!

Жених был приветлив и очень важен, потом — он был неглуп и очень зажиточен. Гости ни на что не могли пожаловаться и с любезными улыбками выслушивали его рассуждения о том, что главное в жизни общества — семья,

он это понимает и вот женился, чем в некотором роде оказал обществу услугу, добавив к общей сумме его звеньев-семей ещё одну.

Невеста была, должно быть, очень счастлива, потому что всё время молчала, и, когда её спрашивали о чём-нибудь, она вместо ответа улыбалась такой мягкой и доброй улыбкой.

Майе было скучно. Улучив минутку, она спросила крота, что он думает о чабанах.

— Чабаны?! Скрр!.. брр!.. Я-таки близко знаю их! О да, принцесса, я-таки имел с ними дело! Они бедны всегда, и поэтому все негодяи и разбойники. О да, это уж верно! Это так! Чабаны?! Огэ! Они не имеют никакой собственности, кроме самих себя; а всякий, не имеющий собственности, — вор, ибо чем бы он жил, раз он не вор?! Но, впрочем, он может быть нищим, это ещё хуже, потому что воровать — это всё-таки труд. Один из чабанов раз бросил в меня своей длинной палкой и бежал за мной до той поры, покуда я не убрался в нору; да, это было так!

— Зачем он бросил? — спросила Майя.

— Зачем? Я думаю, просто затем, что я имел неосторожность пройти близко от него, вот и всё, отнюдь не больше. Ведь чабаны — люди, как хотите, и с них спрашивать много нельзя!

Майе стало ещё скучней. Всё, что происходило перед её глазами, было совсем не так интересно, как интересно оно было раньше. Она была очень рада, когда мама объявила, что пора идти домой. И вот они пошли. Светляки бежали перед ними, светя им; лес уже спал, и небо спало, а звёзды смотрели с него на землю и улыбались ей задумчиво и тихо.

Потом пришли домой.

Майя легла спать на свою кроватку из ландышей, а когда заснула, то видела бесконечно широкую, сожжённую солнцем степь, и там на холмах стояло много чабанов с длинными палками в руках, и ветер играл их чёрными кудрями; они пели громкую, страшную песнь о свободе и о степи и бегали за кротами, громко крича: «Эгой! гой!» Они были злы и страшны и очень пугали её, но это не помешало всё-таки ей, как только взошло солнце, побежать на своё любимое место и взобраться на ветви бука.

Он был там и пел:

В лесу над рекой жила фея,

В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Смотрели рыбаки, дивились...
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать её жарко.
А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась
Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем-то смеялась.
День целый они целовались,
А чуть только ночь наступила, —
Пропала красавица-фея,
А с нею и Маркова сила.
Дни Марко все рыскал по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»
Повесился Марко на горькой,
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.
Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем-то смеётся...

Ведь вот как веселье любила!

Купается фея в Дунае,

Как раньше, до Марка, купалась...

А Марка уж нету! От Марка

Лишь песня вот эта осталась!

Это была очень весёлая песня, в голосе чабана ясно звучал смех, беззаботный и вольный, как сам чабан.

«Вот странная песня! — думала фея. — У кого он научился петь её? И фея в этой песне странная, и Марко тоже странный. Почему он повесился, и что это значит — повеситься?» Ей казалось, что это не весёлая песня, а очень грустная. Чабан же поёт её так весело... Она смотрела на него через вершины деревьев и хотела, чтоб он подошёл ближе.

Но он не шёл, а всё пел и в такт своей песне помахивал палкой в воздухе; кончая одну песнь, звонко вскрикивал: «Эгой!» и начинал другую:

А то ещё есть песня

О старом казаке,

Что плыл куда-то ночью

На лодке по реке.

Будил он рыб и воду

Ударами весла...

А в сонном небе ночи

Над ним луна плыла.

И нежно там сияли

Красавиц-звёзд огни,

И знали всё, что будет

Со стариком, они.

Майя слушала и думала о певце, что, пожалуй, никто другой не знает столько таких песен, сколько он! Какие хорошие грустные песни, и как это верно спето про звёзды, которые знают всё, что может быть завтра и дальше вперёд!

Хорошо слушать такие новые песни... И Майя незаметно для себя по ветвям
дерев добралась до самой опушки леса.

А было вот что: в лодку

Русалка села вдруг

И вырвала со смехом

Весло из старых рук...

— продолжал певец и тут остановился, задумчиво глядя вдаль и тихо
насвистывая мелодию своей песни. «Эгой!»

Была она красива,

Нага и молода,

С волос её струилась

Алмазами вода.

Смеясь, она играла

Казацкой бородой

И говорила: «Хочешь

Любить меня, седой?

Но, впрочем, где тебе уж!

Вот ты и дряхл, и стар,

Ты не погасишь лаской

Кипучей страсти жар!

Ты не обнимешь крепко,

Ты слишком слаб, казак...

А ну-ка, поцелуй-ка,

Как я!.. вот так!.. вот так!..»

Она его схватила

И стала целовать,

И стала в уши песни

Тихонько напевать.

Майя слушала и думала о том, как это красиво было: в лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжёлыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелёными волосами русалки, а она ласково и нежно пела, и её песня, наверное, была мягка, как осенний шум волн в камышах, и глаза её горели так ярко, ярко, как звёзды, которые, сияя из густо-синего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку и лодку, и тех, что, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!.. И ещё была музыка... музыка шёпота волн и звука поцелуев, шелеста деревьев на берегах, тонувших в мгле, мягкой и волнистой, и тихих песен русалки... Всё это сливалось и звучало тихим и кротким гимном, которому имя — счастье жить! А певец продолжает:

Остатки силы юной

Проснулись в казаке...

«Могу!..» пронёсся шёпот

По дремлющей реке.

Он берегов уснувших

Во мгле не разбудил...

Как тучка в небе ясном,

Он, тихо тая, плыл

И замер где-то грустно...

Мир божий сладко спал,

И больше ничего уж

В ту ночь он не слышал.

Как раньше, катит волны

Красавица-река...

Но средь живых уж нету

Бедняги казака!

Теперь русалки око

Не соблазнит его...

Зарыт бедняк глубоко

И... больше ничего!

Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего»? Было так много красивого!.. Она смотрела на певца — теперь он был близко от неё — и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя в землю. Ей захотелось поговорить с ним и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:

— Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих весёлых песен такие грустные концы?

Чабан встал с земли, подошёл к самой опушке леса и, найдя её в ветвях своими карими глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:

— Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры, я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распеваешь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.

Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он опёрся о палку локтем одной руки и, положив на её ладонь голову, смотрел вверх на ветви, из которых, улыбаясь, смотрело на него её маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!

— Ты славно поёшь! — сказала Майя, вдоволь насмотревшись в его чёрные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пухом покрытые щёки.

— Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?

Ну, это-то она знала как нельзя более твёрдо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожицей и всем остальным. Все красавицы знают, что они такое, и почти всегда раньше времени знают это; можно думать, что коли бы этого не было, так и ещё кое-чего не было бы!

Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.

— А ты злой? — спросила она.

— Я-то? Не знаю... Я — чабан...

— Это я знаю! — торопливо сказала Майя. — Значит, ты добрый?

— Не знаю! — весело тряхнул кудрями чабан.

— Ну, так я не приду к тебе, потому что ты, наверно, злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.

— Э, да ты глупенькая какая! — крикнул чабан. — Как хочешь, не придёшь — не приходи, а придёшь — я тебя поцелую!

— Не хочу я, чтоб ты меня поцеловал!

— Ну, это ты врёшь! Каждая девушка хочет, чтоб её целовали; разве я не знаю, ты думаешь?

— А я не хочу!

— Теперь — может быть; а через час или завтра и ты тоже захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот то-то же!

Майя задумалась. «Может быть, лучше — поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту — на другой щеке.»

— Ну хорошо, я сойду! — засмеялась она и спрыгнула с веток прямо ему на руки.

— Какая ты лёгонькая! — глядя ей в очи, сказал он и поцеловал её в губы.

Ох, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потёк по жилам к сердцу, и оно затрепетало до боли сильно и сладко.

Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и ещё, и ещё, и бесконечно много целовались они.

Уже наступал вечер. Заходило солнце; лес темнел, и из дали по степи поползли тени, посланники ночи. Тогда Майя вспомнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого — с чабаном было так хорошо!..

— Ты уж уходишь? — спросил её чабан. — Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придёшь.

— Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью, — сказала Майя.

— А ты разве не станешь думать, когда узнаешь, что это?

— Что же думать о том, что знаешь?

— Нет уж, иди. До завтра!

— До завтра!

Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых — сильных и смелых, как ветер степной.

Майя пришла домой и рассказала всё, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала своей матери и сестёр такими испуганными и огорчёнными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали её. Мать то сердилась, то плакала, и всё говорила: «Что ты сделала, глупая! Что?!.» Сёстры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.

— Дочка моя! — плакала мать. — Ты погубила себя!

Сёстры убито молчали и тоже плакали.

— Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом, он говорит, что целоваться всё равно нужно; не нынче — завтра, это неизбежно!

— Дочка моя! Ведь он человек!

Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила своё, что целоваться приятно, что чабан так хорош и что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та и другая были правы и, чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда, — они почувствовали себя обиженными и рассердились друг на друга.

— Ты не уйдёшь больше из дома дальше вот этого дуба! — сказала мать.

Этот дуб был в трёх шагах от маленького теремка Майи; это её ещё сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой тёмно-зелёный навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сёстры ушли во дворец, взволнованно шепча о чём-то между собой. Всё это утомило её, и она уснула крепко, — в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка, — уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и целовал её; у него ярко искрились глаза и зубы блестели, как жемчуг, из-под пушистых и чёрных усов; ей было так славно! И когда она проснулась, ей — эх ты, как! — захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и

грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабана дома!.. Но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было... Вот идёт мать. Её старые, седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вокруг её головы, следят, как бы не попала пылинка на доброе старое лицо, которое теперь так убито и строго.

— Я пойду в степь, мама! — не то попросила, не то решила Майя.

— Ты не пойдёшь, девочка! Ты погибнешь, если пойдёшь! — подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и ещё о многом, что было и мудро, и, может быть, верно, но что совсем не было так приятно, как поцелуи чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока со степи не принеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» — и вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана:

Терять минуты не годится

Тому, кто хочет много жить,

Кто хочет жизнью насладиться!

Тому, кто хочет счастлив быть,

Терять минуты не годится.

О, иди! Я тебя страстно жду!

Поскорей!.. Для тебя я в груди

Много песен весёлых найду...

О, иди! Поскорее иди!..

Майя слушала эту песню, и её сердце повторяло её. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни — как клёкот орла.

— Нет, я пойду! — сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:

— Дочка, не ходи!..

— Ведь это жестоко, мама! Я хочу — ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!..

— Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого! Не ходи!..

— А я не знаю и пойду!

— Так тогда ты больше не будешь моей дочерью, — вскричала царица, и лес не раз повторил её крик.

Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб всё шло своим чередом.

Майя испугалась и, когда увидала, что мать уходит от неё, испугалась ещё больше. А со степи неслось:

О, иди!.. Счастьем жизнь так бедна!..

Торопись же! Она так кратка!

Нужно пить чашу жизни до дна

Поскорей — не остыла пока!..

Майя посмотрела кругом... Корявые сучья дубов и белые гибкие ветви берёз переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и ещё чем-то, таким же тяжёлым... А там, в степи, просторно и ярко! И оттуда неслась песнь:

О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!

Поскорей!.. Страх и жалость отбрось!

Только сердце свое ты жалея,

Только с ним не пытайся жить врозь!

Майе стало казаться, что лес ещё гуще переплёл свои ветви и хочет помешать ей уйти и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда!.. Там ждёт тебя горе и ещё что-то!» Она чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу... но всё-таки хотела и решила пойти. У неё прямо из сердца полилась песня вызова и желания:

Звук этих чарующих песен

Отраду мне в грудь тихо льёт.

О лес! Почему ты стал тесен?

Мне страшно!.. Мне больше даёт
Звук этих чарующих песен!..
Мой лес! В тебе солнца так мало,
В тебе не умеют так петь!..
Мне скучно! Я жить здесь устала!
Угрюма ветвей твоих сеть...
И солнца в ней мало, так мало!
Я воли хочу, хочу степи!
Мне грудь тяжело давит твой мрак!
Прочь эти зелёные цепи!..
Пусти!.. а не то ты — мой враг!
Я воли хочу, солнца, степи!..

— Майя!.. — вскричали сёстры и встали все рядом у неё на дороге.

— Дочка! Ты ведь разорвёшь сердце мне!.. — простирая к ней руки, горько крикнула царица-мать.

Майя остановилась. Ей холодно и страшно стало, как никогда не бывало прежде. А со степи несло:

Иди!.. Мое сердце устало

Тебя, моя девочка, ждать!

Хоть счастья в жизни и мало,

Но всё я могу его дать!..

Майя и не посмотрела на мать, и на сестёр не посмотрела, бросилась вперёд, толкнув их, и ушла, а когда они опомнились, её уже не было. Глухо гудел лес, и у корней могучего дуба лежала старая царица в короне серебряно-седых волос, широко раскинув руки и не дыша.

— Вот я! — крикнула Майя, подбегая к чабану. — Вот я! Вырвали меня из леса твои песни, и из моего сердца вырвали они всё, что в нём было до той поры, пока не услышала их, вырвали и породили там что-то новое и сильное, и вот я бросила и лес, и мать, и всё... и пришла к тебе!

— Ну, что ж! Вот и славно!.. Теперь ты свободна, и смотри-ка: вот она, степь, нет у ней края, и вся она — твоя! И я твой, коли это нужно, а ты — моя! А то — так нет здесь ни тебя, ни меня, а есть мы, и ты — это я! Видишь, как славно! Только в степи и хорошо, потому что в ней свобода! Мы будем жить, как птицы; я буду петь тебе свои песни, а ты мне — свои, и обоим нам будет так хорошо, как никому никогда не бывало! И забудь ты то, что осталось там, сзади тебя, и будь моей милой!

— Да! — вздохнула Майя, — я буду твоей милой! Ты так хорошо поёшь! А то, что в лесу, я уж забыла. Мне не жалко леса... и мать... и сестёр... только вот там осталась моя постелька из ландышей... её жалко! Ведь здесь жёстко так, — на чём спать стану я?!

— Э, о чём она! На моих руках будешь спать ты и на грудь ко мне положишь свою головку. Разве это дурно? Вот так, а я буду петь тебе тихо, тихо и баюкать тебя своими песнями. Я много знаю песен.

Он взял её на руки, и она положила головку к нему на смуглую, сильную грудь... Он запел, и солнце смотрело на них с ярко-голубого неба; там не плавали маленькие пуховые облака, оно было чисто, как душа девочки-феи, и только невидимые глазом жаворонки вплетали звуки своих песен в солнечные лучи... и над степью, в безбрежной равнине небес, плавала дивная, громкая музыка. Чабан сел в тень от одинокой берёзы, что, любя свободу, выдвинулась из леса далеко в степь и стояла в ней гордо и смело, тихо качая ветвями под ласками ветра, летевшего со стороны моря по степи... Он, глядя в глазки Майи, играл её покрывалом из крыльев мотыльков, накинутым на её плечики, и нежно пел ей:

О цветок мой! Бархат скинь

С утомлённых зноем плеч...

Неба свод так чист и синь,

Так прохладна эта тень!

Славно в ней на отдых лечь

В этот жаркий день!

Тонкими серебряными колокольчиками звенел его голос:

Ветер нежен и душист,

Он несёт со всех сторон

Тихий шелест, стрёкот, свист...

О, как сладко мы уснём!

Сон наш будет тих и чист

Этим чудным днём!..

Майя засыпала под звуки этой песни, засыпала сладким сном счастья и сквозь дымку сна видела, что лучи из глаз чабана прямо в сердце льются ей. Он её жёг поцелуями, и она, не скупясь, отвечала ему. Это было так приятно! И потом она куда-то полетела быстрой птицей, и навстречу ей небо улыбнулось страстно, знойной улыбкой...

А когда она очнулась, уже ночь плыла над степью... Как прекрасны и могучи вы, свобода и любовь! И Майя спела одну старую соловьиную песню, в которой воспевалась любовь, — от себя вставив в неё хвалу свободе. Но вино не смешаешь с огнём, и огонь не заменишь вином!.. Это вышла плохая песня; хвала свободе звучала и смело и громко, но эти смелые и громкие звуки шли в разлад с тихой и нежной мелодией хвалы любви. Но чабан целовал её, она отвечала ему, и никто, кроме птиц, не заметил того, что не ладится песня свободы с песней любви.

Так вот и зажили они. Пели и целовались, чуть только начинался день, и целовались и пели, когда ночь покрывала собою степь, и ходили по степи туда и сюда, свободные и весёлые, как птицы. Так вот и жили они. Иногда вечером, когда солнце угасало и тонкой мглой окутывалась степь, эта мгла ложилась и на душу Майи, чуть туманя ясный блеск её очей; но чабан целовал её тогда чаще и крепче, и пока он её целовал, из-за леса являлась луна, обливала всю степь голубым серебром, и мгла таяла и в степи, и в душе маленькой феи. Хорошо им жилось!..

Но однажды гроза собралась там, вдали: незаметно она собралась и сначала явилась маленьким тёмно-сизым облачком; оно торопливо пробежало над степью, облитой горячим сиянием солнца, и, когда оно бежало, от него ложились тени, они казались степи тёмной, виноватой улыбкой, точно облако хотело сказать, что оно не по своей воле закрывает солнце и пугает птиц, а уж так ему повелел ветер. Пробежало это облако, и за ним медленно поплыли другие облака, побольше и поменьше его, — они плыли и хмуро смотрели на степь и на Майю с чабаном, что сидели там; а потом они стали собираться в тёмно-синие, мрачные стаи и закрыли собою всё небо.

Ветер странным порывом промчался над степью в сторону моря, он мчался и был что-то грозно и дико и гнал пред собой стаю сухих листьев, ковыль робко

клонился к земле, Майя испуганно кинулась на грудь чабана, а тот громко крикнул:

— Эгой! — и спросил её, крепко целуя в щёчки: — Чего ты боишься? Это просто гроза собралась. Ты посмотришь, как это будет весело! Ничего нет в свете сильнее и красивей грозы. Эх. как она пролетит над степью, сколько золотых стрелок бросит в землю, сколько грозных песен прогудит ей!.. Знаешь ты, почему бывает гроза? Эх ты!.. не знаешь! Это потому, видишь ли, что небо смотрит, смотрит на землю и потом рассердится на неё за то, что она забывает о нём. Оно и жалеет её и, может быть, любит немного... И вот, когда оно рассердится, то соберёт все тучи, какие у него есть, и, вооружив их молниями, с громом пустит их лететь над землёй: смотри, дескать, захочу — и вся ты в пыль разлетишься!.. Вот что такое гроза. Теперь ты знаешь?

— Я боюсь теперь! — вздохнула Майя. — Уйдём туда! — и она показала в сторону, где стоял лес.

— От грозы-то уйти! Вот уж сказала! Коли ты не хочешь её, иди к ней навстречу, — так она скорее минует тебя, а избежать её — всё равно не избежишь! Да и бояться её не нужно. Гроза!.. Эго! Что ж такое? Будь тверда, вот и всё!

Но всё, что он говорил, нимало не утешало её; она боязливо дрожала, обняв его крепко, и не хотела посмотреть туда — в даль, теперь уже матово-чёрную.

Вот на землю начали падать холодные крупные капли, и там, куда падала капля, вздымался маленький пыльный дымок. Потом прилетело из дали глухое ворчанье, и даль эта вспыхнула синим огнём. И вдруг тучи прянули в небе и с страшным громовым ударом порвались на клочья; в прорыве их, мрак освещаая, блеснула раскалённая стрела молнии, ринулась на землю и, не долетев, погасла.

По степи пронёсся ропот, широкой и мрачной волною он нёсся, и лес отвечал ему эхом. И хлынул дождь, — вот он!..

Стрелы молний рвали тучи, но они опять сливались и неслись над степью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой, с ударом грома, что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю; и блестели грозно тучи и казались взгляду ратью страшных, чёрных привидений, в бархат с золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из золота и калёными из горна были прямо в руки взяты.

Привиденья рокотали и гремели, угрожая замолчавшей в страхе степи, и волною беспрерывной и громадной, с море ростом, их проклятья и угрозы

неустанно вдаль летели и звучали так, как горы вдруг бы, вдребезги разбившись, пали с грохотом на землю и, во прах её разрушив, вместе с нею полетели в бесконечное пространство, камень, камень раздробляя, — и звучали так, как небо зазвучало б, изломавшись на куски и с выси синей быстро падая на землю...

Вот как тучи те звучали!..

Ужас сердце чувствует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы молний из рядов своих на землю. Гром гремит, пылают тучи, и огонь их синь и страшен, и дрожит пустыня неба, и земля трясётся робко... И на свете нет явлений больше сильных, больше страшных, чем гроза в степи широкой и на море бури бой!..

Степь молчала робко, странно, и над нею всё катился дикий ропот.

И, когда чернели тучи, в их огне сверкали сталью нитки тонкие дождя; он струился непрерывно, и звучал он монотонно плачем горя за кого-то...

Твёрдо, как скала, чабан стоял в степи, подставив грудь дождю и порывам ветра; и молнии, прядая по небу, точно не смели пасть на него, точно боялись они разлететься огненной пылью, ударившись в смуглую грудь чабана... А он с улыбкой смотрел на тучи, любясь их мрачной красотой и силой, и в его чёрных очах горел огонь зависти им, огонь такой же яркий, как сами молнии. Он забыл и о Майе, что лежала на земле, охватив своими тонкими ручками его ноги и крепко прижав к ним свою маленькую головку, — и о себе, и о степи... Ему самому хотелось летать с тучами и петь громкие песни с ними...

Гроза уж не гудела без отдыха, как раньше, а минутку, и две, и три останавливалась и, точно присматриваясь к смелому человеку, одному перед ней, глухо ворчала, должно быть, немножко не понимая, зачем он тут стоит и чего дожидается в пустынной степи под дождём... А потом, помолчав немного, снова встряхивала тучами и играла молниями, градом сыпая их на землю, а тонкие нити дождя всё опускались из неё вниз и всё блестели в огне молний и казались сетью из тонких стальных проволок, которую гроза кидала на землю, чтоб та запуталась в ней, и тогда гроза унесла бы её с собой в страну, где живёт Ночь и она сама, где всегда темно и где у грозы уже много натаскано таких, как земля, шаров, которыми она играет, когда ей скучно и нельзя уйти из дому.

А в степи было холодно, темно и мрачно. Когда молнии летели над нею, то казалось, что она тяжело и утомлённо вздохнула, и, поднятая вздохом, её

широкая грудь так и замерла в страхе; а когда молнии падали на неё, она со стоном опускалась, её давила тьма, и над ней монотонно плакал дождь.

Чабан стоял и пел, и в груди его всё горело это могучее, смелое, что позволяло ему одиноко стоять грудью к грозе и не бояться; он всё пел, и раз, когда все тучи сразу вспыхнули ослепительным голубым огнём, он невольно опустил глаза к земле и увидел у ног своих Майю, о которой забыл. Она лежала вся мокрая на мокрой земле, и её маленькое личико было синим и мёртвым, глазки закрыты, и плотно сжатые розовые губки были бледны.

— Умерла! — вскричал он удивлённо. — Отчего же?

И наклонился над ней и, взяв её на руки, прижал к своей груди. Она была так жалка, и в углах глаз её замерли две слезинки; маленькая, беспомощная, она откинула головку назад, и ручки её повисли так жалко и слабо.

— Умерла ты, Майя? — тихо спросил он её и почувствовал, как что-то режет ему сердце острой, невыносимой болью. Он никогда не испытывал такой боли, даже тогда, как, раз упав, сломал себе кость руки, — и эта боль была жалость.

Он даже застонал страшным, рыдающим стоном... и в ответ ему дико и насмешливо захохотал гром прямо над его головой.

Чабан вздрогнул и согнулся, — посмотрел кругом, куда бы спрятать маленькую девочку Майю от грозы, и в первый раз пожалел о том, что не имеет шалаша. И его жалость к девочке перешла в страх за неё. Вот он вскинул на руках Майю высоко над своей головой и с тоской, рвавшей ему сердце так, что он чувствовал, как из этого сердца брызжет внутри его груди горячая кровь, — с тоской и со страхом крикнул изо всей силы:

— Пощади!

Гром хохотал, тучи мчались, дождь всё падал и плакал, степь вздрагивала, а там, вдали, глухо и скорбно рыдал лес... Но в стороне, откуда мчались тучи, мрак становился бледней, и порой там сверкали ласковые голубые улыбки неба.

Чабан стоял и держал высоко над головой маленькую фею, а сам тоскливо смотрел ввысь, где мчались тучи, которым совсем никакого дела не было ни до чабана, ни до Майи. Они пришли потому, что пришли, и уходят потому, что настала пора уйти. Они убили бы его, если б убили, но этого не случилось, — и им нет ровно никакого дела до чабана и Майи; они, может быть, хотят чего-то, но уж не так мало, как чабан и его фея! Они проносятся над землёй и веселятся по-своему.

Вот вдали блеснуло солнце с непокрытого тучами неба; там была уже широкая ясно-голубая лента.

А чабан стоял и всё держал Майю, подымая её к небу и в тоске ожидая, скоро ли и над его головой блеснёт солнце; он даже позабыл и о том, что можно бы пойти к нему навстречу.

Вот оно и блеснуло... и на побитых дождём стеблях ковыля засияли в его лучах алмазы и яхонты капель; и попадали эти лучи на личико Майи и её грудь... А там, куда умчались тучи, ещё гудел гром. Тогда фея вздохнула и тихо простонала:

— О мама! мама!..

А чабан крепко прижал её к груди, и ему стало так радостно!

— Так ты жива! Эх, как это хорошо! А я думал, что гром-то убил тебя!

— Я в лес хочу! Здесь мне страшно!.. — тихо сказала Майя.

— Да ведь она уж ушла, гроза-то! — вскричал чабан.

— Она опять воротится назад! Неси меня в лес!

— Но как же снесу тебя? Я не пойду туда! Чего там? Деревья, и всё!..

— Нет, скорей отнеси меня! — настаивала фея.

— А я останусь один здесь? — спросил её чабан и задумался... Тут есть что-то нехорошее!.. Что же в том, что один? Он всегда был один. И степь так близка и родна ему. Но почему же ему не хочется отнести её в лес? А отнести-то очень не хотелось!

— Знаешь, — сказал он, — мне кажется, что, коли я отнесу тебя туда, так это будет похоже на то, как бы я разрезал себя на две половинки и они разошлись в разные стороны, — одна в степь, другая — в лес, вот что! Пожалуй, лучше этого не делать. А? что ты скажешь?

— Но я боюсь здесь! Я хочу в лес! Мне тоже будет скучно без тебя... ты думаешь — не будет? Ах нет! очень будет... но я хочу в лес! я боюсь здесь!.. какая гроза!..

— Ну, так как же мы будем? Тебе будет нехорошо без меня, а мне — без тебя. Останься-ка со мной! Что тебе гроза? Как придёт она, я запою песню и буду петь до той поры, пока она будет метаться по степи, — вот и всё!

— Ах, разве ты можешь с ней сладить? Она схватит тебя и со мной и может кинуть так далеко, что мы долетим до моря!

— До моря — это не далеко!.. — задумчиво говорил чабан. — Но как же я отнесу тебя, когда мне этого так не хочется!.. Э?!. И потом — здесь я дал тебе счастье, и ты мне, а в лесу... Ну-ка, скажи, что ты видела там?

Тут и Майя задумалась и, немножко помолчав, печально сказала:

— Это так, счастье здесь! но... ведь его так мало! Это я тебе тогда ещё, в первый раз, хотела сказать. Оно, пожалуй, только ожидание; вот что твоё счастье!..

Им стало грустно после этого; а над ними небо, освежённое грозой, тихо и ласково улыбалось. Чабан посмотрел на него и вдаль кругом себя и нигде не нашёл ответа на свои думы.

— Ну, пойдём! Я отнесу тебя до опушки.

Он понёс её молча и смотрел не в глазки её, как раньше, а в тёмную, смоченную дождём землю, и она, сидя у него на руках, молчала. В них обоих было что-то новое, чего они не понимали, но что мешало им так весело целоваться, как раньше они целовались.

— Прощай!.. Когда ты выйдешь из леса ко мне? — спросил он, опуская её с рук на землю у опушки леса, под ветви, осыпанные, точно драгоценными камнями, каплями дождя, горевшими на солнце и молчаливо отдыхавшими от бури.

— Приду? Не знаю, когда... Когда захочу, — не раньше! — ответила Майя.

— Ну, так поцелуй на прощанье.

Она крепко, крепко обняла его и поцеловала — горьким поцелуем сомнения, а потом пошла в лес, не оглянувшись на него. На неё падали с потревоженных веток холодные крупные капли, и от них ей было холодно. Лес молчал угрюмо и сосредоточенно, тропинка сделалась почему-то густой, но менее красивой, чем прежде, и цветы были не так красивы, и меньше было их... и всё было странно, не так, как прежде, точно у Майи теперь были новые глаза.

А как просторно там, в степи, и как там ярко! Он, наверно, сидит под ветвями осокоря и думает, глядя вдаль, положив на руки голову. Часто он так сидит и много думает. Часто, когда она засыпала у него на руках, а он переставал баюкать её песней, она сквозь дрему наблюдала за ним, и, хотя ей казалось, что его сердце не с нею, всё-таки хорошо было смотреть в его горячие очи!..

Она шла. Ветви деревьев осторожно дотрагивались до её плеч и рук и точно хотели сказать ей шёпотом что-то; но она чувствовала ничего, кроме того, что печаль наполняла ей сердце...

Вот на дороге у неё стала царственно пышная лилия, и отягчённая дождём её серебряно-бархатная пышная чашечка почему-то так грустно качается. И эта лилия так бела, чиста, свежа! И, кажется, так гордится всем этим.

Майя наступила на неё ножкой, стебель жалобно хрупнул... и вот она, эта чистая лилия, лежит в грязи, вся измятая.

Майя посмотрела на неё, и ей стало за что-то стыдно и чего-то жалко.

— Я сделала сейчас так же, как эта Страшная Судьба, о которой рассказывал мне в степи он! А вот дворец матери!

Он стоял таким же красивым, как раньше, но в нём было что-то грустное.

— Мама!! — рыдая, вскричала Майя и смотрела на ступени перед дверями дворца.

Как и раньше, они были обвиты тёмной зеленью плюща; ярко блестели белые душистые жасмины и жёлтые азалии бархатной зелени и дышали густым ароматом в открытые окна дворца. В одном из них, из-за цветов, смотрели вниз на Майю её сёстры, и их лица были строги и печальны, хотя и казались тоже чашками белых тюльпанов.

— Мама?!. — спросила сквозь слёзы Майя, не входя на ступени.

Лес повторил вслед за нею угрюмо: «Мама!?.» Сёстры качнули печально и строго головками; деревья тоже качнули вершинами, и с их ветвей попадали частые, крупные слёзы.

— Ты убила её! — сказала старшая сестра.

— Ты не сестра нам больше! — добавили две остальные.

Майя посмотрела на них с холодом в сердце... Мать умерла, значит?.. Умерла?!.

Маленькая фея наклонила головку на грудь, и ей показалось, что маленькая змейка ужалила её в сердце... «Но ведь мать-то старушка уж была, и умерла ли она оттого, что я не послушалась её, или оттого, что пришло время смерти, — едва ли знают это сёстры!..» Зачем же они говорят так строго и теперь вот смеются над нею там, вверху, меж цветов? Или им оттого, что они сказали ей, стало легче? Что она им сделала дурное? Ничего! Ну, и пусть их остаются

себе! Ей их не жалко, потому что они обидели её, и лес ей больше не нравится.

Майя пошла по лесу к своему любимому буку и забралась в его густую пахучую листву, омытую дождём. Она смотрела в небо; там уже вспыхивали звёзды, они были ещё малы и тусклы, мигали так грустно; небо было печально; а лес, казалось ей, молчал укоризненно, сухо, сердито... Она была одна и заплакала.

Слёзки из её глаз падали на листок бука, с него — на другой, третий, потом на землю... и, когда она проснулась на другое утро, под буком из травы выглядывали анютины глазки, а со степи над лесом плыла песня:

Э! Э!.. Почему тебя нет?

Давно уже солнце блеснит,

Но нынче я им не согрет,

И сердце в груди моей спит!

И что-то в нём петь не даёт...

Эгой!.. Как тот жалок, кто ждёт!

Э! Э!.. Кабы я да умел

По ясному небу летать,

Я много бы огненных стрел

У грома старался отнять

И той, что вчера целовал,

Из них бы корону сковал!..

«Вот он уже и поёт! Как грустно звучит его голос один! Отвечу ему...» — подумала она и запела:

Весь покоем и мглой

Лес угрюмый объят...

Лишь деревья листвою

Тихо, нежно шумят.

Вот в просвете меж туч

Пышных, тёмных ветвей
Солнце бросило луч
В скрытый тенью ручей.
Оживлён, освещён
Этим ярким лучом,
Загорелся весь он
Разноцветным огнём, —
Точно гном-чародей
Щедрой дланью своей
Бросил в этот ручей
Драгоценных камней!..
— Эгой!.. — радостно неслось со степи.
Лентами песни твоей
Сердце себе я украшу!
Солнце сияет светлей,
Слушая песенки наши!
Эх, как я жадно ловлю
Трель твоих маленьких песен!
Степи простор стал мне тесен,
Вот как тебя я люблю!..
А она продолжала:
Я дыханьем цветов
Ароматным дышу,
И тебя я спешу
Целовать!
«Понеси ты ему

Сладкий наш аромат!» —

Мне цветы говорят,

Я иду!..

И в две минуты она была уже у опушки.

Он кинулся к ней навстречу, и ей показалось, что от поцелуя всё небо вспыхнуло мягким ярко-розовым огнём. Сладко это было!..

И снова зажили они. День за днём жизнь бежала, и, когда они привыкли друг к другу, им стало скучно. Чабану хотелось всё ходить то туда, то сюда, а у Майи ножки болели от этой ходьбы.

И меж ними легла однажды тень, незаметно для них. Всякий знает, как бывает это; что ж говорить много!

Раз они сидели рядом друг с другом и молчали. День был такой яркий, молодой, сильный. Степной богатырь был этот день! Им было грустно. Майя посмотрела в очи чабана и увидала, что темны они, эти очи, и чёрные брови над ними сурово сдвинулись.

— Что ж ты не скажешь мне ничего? — спросила она тихо и тихо стала играть его кудрями.

— А что бы сказать тебе? — двинул он плечами. — Сказал бы я тебе, что меня вон туда тянет, где так мглисто и мягко, вон в ту даль, где видно, что лучи солнца прямо на землю упали такими широкими лентами... Вот это я сказал бы тебе, да ведь ты не пойдёшь со мной далеко; ножки заболят твои! Ну, а без тебя как же?

Он замолчал, и Майя молчала, печально понурив головку... А вот степь так разговаривала тысячью голосов сразу.

— Ну, и ещё мог бы я тебе два-три слова сказать, коли бы ты не обиделась на меня за них.

Она ласково посмотрела на него.

— Как не видал я тебя, так и тоски во мне не было. В ту пору свободен я был и не хотел ничего, и не жалко мне было никого; славно было! Жил, да пел, да из конца в конец рыскал по степи, а по ночам смотрел в небо и думал, кому и на что нужно, чтоб в нём столько звёзд горело? или о том, что там, выше неба, есть? И хотелось мне тогда многого... И знать я хотел, и делать всё, — а теперь вот, как ты со мной, уж и нельзя жить мне так, как я хотел бы и как раньше

жил, потому что уйти одному — обидеть тебя, а я тебя и люблю и жалею; вон ты какая красивая и молоденькая! А уж коли любишь и жалеешь или хочешь и боишься чего-нибудь, так ты и несвободен!.. Вот что я сказал тебе! И мне больно за то, что всё это правда...

И чабан замолчал, глядя вдаль и печально кивая головою чему-то.

И душе Майи стало холодно, когда она услышала его и из глаз её тихо закапали слёзы.

— Ты говоришь — это правда, и я скажу то же. Как жила я в лесу, плохо разве было в нём для меня? Вот уж нет!.. И это ведь ты, коли не забыл, выманил меня оттуда своими песнями! Я пошла, потому что думала — здесь с тобой лучше. Я пошла — и потеряла мать, сестёр, мой дом, всё!.. За что отдала я их, скажи-ка? Не за те ли минутки, когда поцелуи становятся так жарки, что даже больно?! Дорого заплачено, коли так!.. А всё, что я узнала от тебя, лучше бы и не знать, потому что обо всём этом думается!.. Ты говорил мне о судьбе и о смерти... ну, что в них хорошего? Кабы я не знала, что они есть, мне было бы веселее; оттого что, если умеешь думать, совсем не лучше жить!.. Вот и я сказала тебе кое-что и, может, больше бы сказала, кабы могла вынуть из груди сердце и поднести его на руке к твоим очам: посмотрел бы ты, что в нём есть! Умён ты, а вот скажи — зачем всё это у нас вышло?

Он сам думал о том же... А зачем, в самом деле? Столько ли они оба получили друг от друга, сколько отдали друг другу?

На первый вопрос ни сам чабан, ни степь, ни небо, которые он грустно осматривал, — не отвечали, а на второй уже было отвечено и им и Майей.

— Эх, как хороши, покойны и сильны эти две — бескрайная степь и бездонное небо! Нет, моя горленка, мудреца, который сказал бы — зачем; нет такого, я думаю; а как посмотреть попристальнее, так, может, и ещё многого чего нет!.. Виноваты ли мы друг перед другом? Нет, я думаю! Ляг же ко мне на грудь, а я обниму и поцелую тебя!

Майя посмотрела на него. Хорош он был раньше, сильный и смелый, с ясным челом и огненными глазами! хорош и теперь — исхудалый немного, задумчивый. И глубок, как небо, стал взгляд у него. Она обняла его и, положив ему головку на грудь, сказала:

— Спой мне одну твою прежнюю песенку! Давно уж не пел ты.

— Не поётся теперь мне; не поётся, голубка! Видно, уж спеты все мои песни!.. Знаешь что? песни-то ведь были не мои, чужие всё песни, — все их поют,

слышал я, и вот сам запел... А они, может быть, только так... и, может быть, в них есть вредное для сердец.

Говорил он и грустно качал головой; а она плакала, потому что что же ещё оставалось ей?..

Так и зажили они. Так зажили и, глядя один на другого, становились всё больше лишними, всё больше мешали друг другу и больше понимали и видели... И всё больше чабану хотелось идти куда-нибудь далеко, далеко, где бы не было ничего такого, что он знал или что мог себе представить, а Майя хирела и бледнела с каждым днём и всё думала: «Зачем?.. зачем?..»

А осень приближалась. Всё чаще грозы пролетали над степью, и всё чаще и мрачнее хмурилось небо, дни становились короче, чаще тени ночные... и порою в них Майя видела седую голову своей матери, мать печально качала головой, и страшной тоской светились её старые очи... и лес золотился на солнце, надевая пурпурный осенний убор.

Чабан всё сидел рядом с Майей и жадно посматривал вдаль и молчал; а иногда вдруг обнимал маленькую фею и так целовал её, что она чуть не задыхалась в его руках. И всё хирела, хирела Майя.

Раз как-то утром, — совсем уж осеннее то было утро, пасмурное, и тучи низко нависли над землёй, тяжёлые, хмурые — вот, вот упадут на степь и покроют её толстым пуховым сизым покрывалом, — вот этим-то утром проснулась Майя и сказала чабану:

— Умираю я, милый! да, умираю!..

Горем и радостью вместе блеснули чабановы очи, и он поднял её с земли.

— Полно, голубка! — сказал он в тревоге.

— Нет, умираю!.. Умерло лето, и я вслед за ним! Неси меня к лесу скорее!

Он взял её и понёс.

Тёмен и мрачен был лес; уж не шептал он, как прежде, бывало, так нежно и мощно в одно время, и когда-то ярко-зелёная листва его зарделась осеннею краской, и много этой листвы попадало к корням. Тихо в нём было, стояли деревья, молчали и думали думы про лето; и тучи повисли над их вершинами низко, низко и плакали о чём-то мелким и частым осенним дождём.

У опушки остановила Майя чабана и сказала тихо:

— Положи меня на землю!

Он положил её, а сам сел рядом.

Порыв ветра прилетел со степи и много листьев сорвал с деревьев; они посыпались, крупные и красные, на головы Майи и чабана; деревья зашумели — монотонно они зашумели, — и был ли это их привет Майе, или смеялись они нею и укоряли её, нельзя было разобрать.

— Прощай! — сказала она чабану. — И ты, лес, прощай! Прощай и солнце там, за тучами! И вы, тучи, прощайте! вы пугали меня раньше вашей буйной отвагой, но теперь я знаю, что вами правит ветер, а им — ещё что-то, и над всем царицею — Судьба, и она, наверно, тоже у кого-нибудь в неволе, может быть, у Смерти, что хочет взять меня... Но, наверное, и Смерть не свободна! никогда она не складывает рук, всё работает и работает... Зачем?.. Ну, прощай же, ещё раз, мой смелый! Теперь ты снова свободен, как орёл; но зачем тебе это? спрашивал ли ты себя?.. Прощай! Буду ли я пеной в море, или голубою мглой на горах, или вечерней тенью степной, — я всегда буду помнить о тебе. Прощай! поцелуй ещё раз!..

И, когда он её целовал, она умерла.

Лежала она под деревьями, и они глухо роптали на что-то; и была она такая маленькая и спокойная, личико её сделалось бледнее лилий... и тучи ещё ниже опустились над степью и лесом и ещё пуще заплакали... а у чабана пало сердце в груди и тоской, тоской переполнилось оно...

Он смотрел на неё, — она не была уж так хороша, как живая, но дороже была ему теперь, и больше любил он её в эту-то грустную минуту. Да, больше он любил её, потому что потерял... и ныло его сердце, и плакало... и злоба закипела в нём горячим ключом.

Он запел, в последний раз, может быть:

Пусть бы тот, кто первый влил

В чашу жизни страсти яд,

Сам бы чашу эту пил

Долго, долго, бесконечно!..

И, желая смерти, жил,

Жил бы вечно!

И по лесу зазвучало гулкое эхо: «Жил бы вечно!..»

Но это что же за песня?! Чабан уж видел, что это не песня, и ему чего-то жалко и стыдно стало.

Взмахнув над головой своей длинной палкой, он свистнул тихо и жалобно, пошёл вдаль, навстречу тучам — и пропал там.

А фея всё лежала на опушке леса, и мокрые листья всё падали, падали на неё... К вечеру солнечный луч проскользнул между тучами и не видал у опушки ничего, кроме высокой кучи красных и жёлтых листьев; а над нею, на чёрной и мокрой ветке дуба, сидел зимородок и посвистывал грустно и тихо. Тогда солнечный луч снова спрятался; стало темно, — и весёлая маленькая фея Майя так и осталась под осенними листьями...

Вот и всё.

В тот вечер, над Дунаем, на сваленном бурею мшистом дубе сидели три мудрые гнома и говорили о смерти весёлой Майи. Они уже знали, что она умерла, так как они знают всё, что где-либо случается, и знают даже немножко из того, что может случиться завтра; говорили они, — и один сказал так:

— Вот и вся жизнь маленькой Майи! Что ж! она получила, сколько могла; право, ей не на что жаловаться.

— Мне кажется, что любовь называют наслаждением потому только, что это уж очень сильная боль, и мне не жалко фею, как ничего не жалко, — потому что всё глупо! — сказал, немного погодя, второй, который был помудрее первого.

А третий, набрав в руку камешков, задумчиво бросал их в речные волны и смотрел, улыбаясь, как от камней расходятся по воде круги и пропадают, стёртые течением; он ровно ничего, ни слова не сказал, хотя думал не меньше, чем товарищи, и ещё больше морщин, чем у них, резало его чело. Он ничего не сказал.

Он-то и был мудрейший.

Ну, вот я и рассказал эту сказку. Не новая эта сказка, и, может быть, она самой жизнью давно уже написана в твоём сердце; да ведь говорят, что и нет ничего на свете такого, чего бы уж раньше не было!..

...А рассказать-то мне так хотелось!